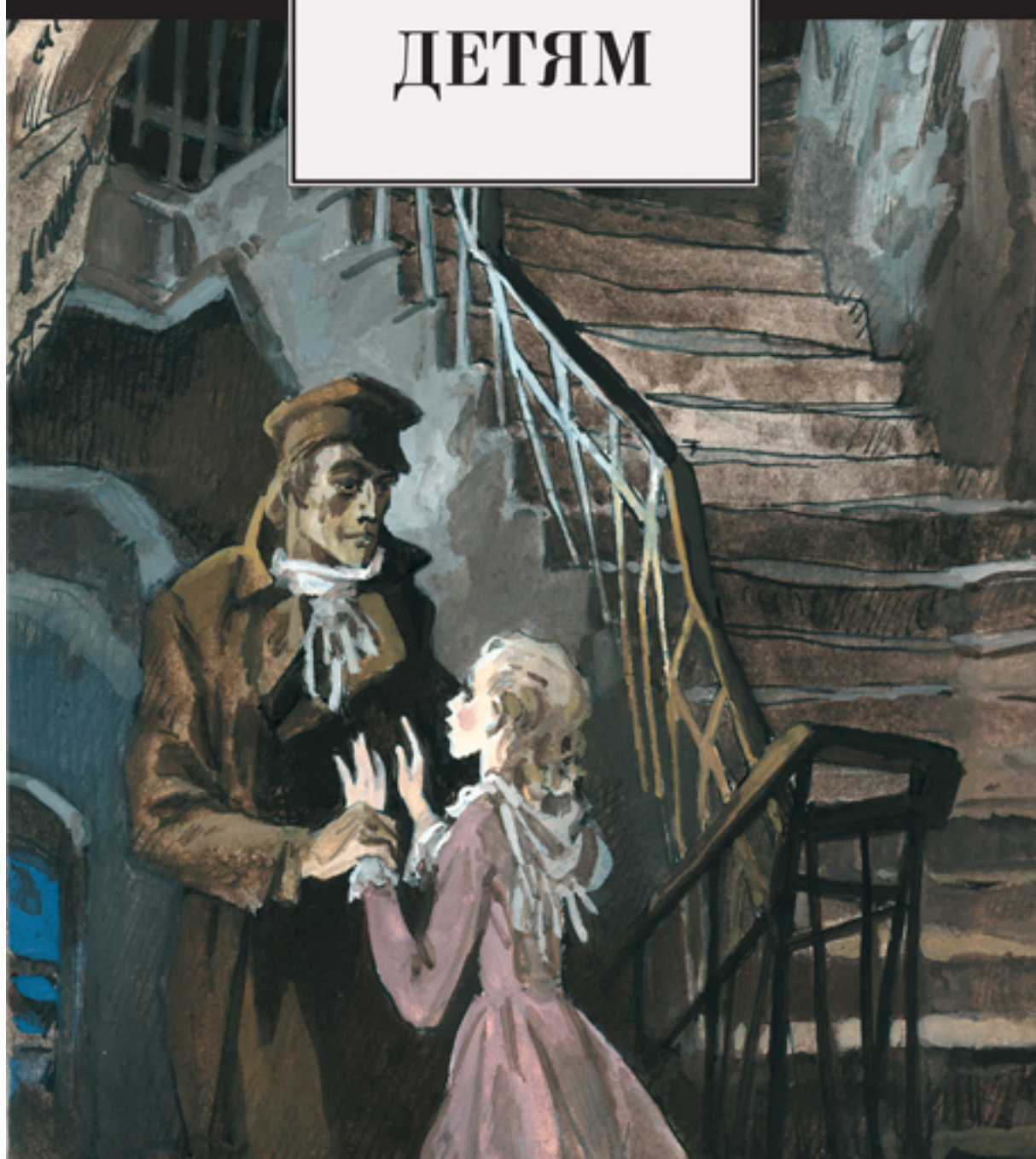


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Ф. М. Достоевский

ДЕТЯМ



Школьная библиотека (Детская литература)

Федор Достоевский  
**Детям (сборник)**

Издательство «Детская литература»

## **Достоевский Ф. М.**

Детям (сборник) / Ф. М. Достоевский — Издательство «Детская литература», — (Школьная библиотека (Детская литература))

В сборник вошли отрывки и отдельные главы из произведений великого русского писателя Ф. М. Достоевского. Для среднего школьного возраста.

© Достоевский Ф. М.

© Издательство «Детская литература»

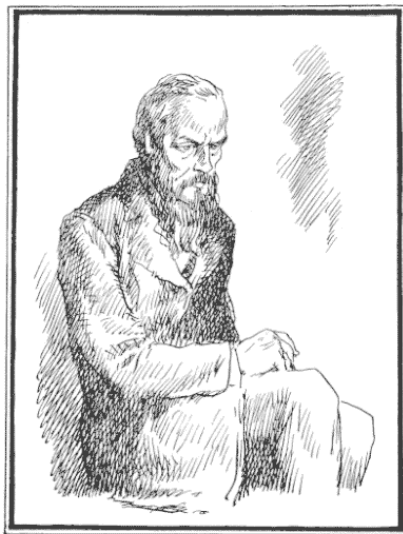
## Содержание

Федор Михайлович Достоевский и мы	6
Записки Вареньки Доброселовой	20
I	21
II	24
Конец ознакомительного фрагмента.	34

**Ф. М. Достоевский**  
**Детям (сборник отрывков**  
**из повестей и романов)**

- © Степанян К., вступительная статья, комментарии, 2000
- © Панов В., наследники, портрет автора и рисунок на обложке, 2000
- © Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2002

## Федор Михайлович Достоевский и мы



*Федор Михайлович Достоевский*

Чтение этой книги – лишь первый шаг на пути к Достоевскому. Прочсть и пережить хотя бы главные произведения этого писателя – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», «Записки из подполья», речь о Пушкине – нужно каждому человеку. И не только потому, что без этого нельзя называться культурным человеком, гораздо важнее то, что без этого невозможно понять жизнь, людей вокруг и себя самого. Можно, конечно, прожить и так, как говорится, в спокойном незнании, но это обманчивое спокойствие: вы будете нестись в потоке жизни и чем дальше, тем чаще с тревогой спрашивать себя: где же это я, что я тут делаю и что ждет меня потом?

Понять жизнь нам помогают Библия и другие священные книги человечества, помогают Пушкин, Лев Толстой, многие писатели и мыслители прошлого и современности. Голос Достоевского также очень нужен и важен.

Жизнь сложна, трудна и полна испытаний, но одновременно она светла и радостна, ибо в ней есть любовь и добро, счастье помощи ближнему и одоления зла в самом себе, вечная жизнь души и бесконечное милосердие Божие. Достоевский ничему не учит «сверху вниз» – он показывает: вот добро и вот зло, выбирай, ибо каждый человек свободен. Старайся быть честным перед своей совестью, не оправдывай себя, ибо дурные мысли и желания столь же (а порой и более) опасны, как и поступки.

Читать Достоевского надо медленно, как бы тяжело это поначалу ни было. Тяжело не потому, что Достоевский, как принято думать, мрачный писатель, хотя по прочтении некоторых из собранных в этой книге отрывков может сложиться именно такое впечатление. Но это все-таки в основном отдельные части больших произведений, причем части, где речь главным образом идет о детях. Переживания детей, их трудности и беды всегда очень волновали Достоевского, и он стремился к тому, чтобы они так же взволновали и заставили сопереживать его читателей. И этого не надо бояться и не надо пропускать или быстро пробегать такие страницы: точно так же, как мы учимся жить среди людей, усваиваем правила поведения и воспитываем силу воли, мы должны воспитывать и свои чувства, а нет лучшей школы воспитания чувств, чем сопереживание другим людям.

На самом деле Достоевский очень оптимистический и внушающий бодрость духа писатель, ибо в его произведениях всегда виден свет и пути выхода из самых сложных ситуаций. Об этом мы еще поговорим. Но в этой книге в основном собраны отрывки и маленькие рассказы, описывающие страдания героев от материальной бедности (материальной, потому что есть еще душевная, и она гораздо страшнее). Порой кажется, что невозможно читать, разрывается сердце, когда вживаешься в муки маленькой Нелли или семейства Ильюши Снегирева. Но эта боль лечит сердце. Ведь, к сожалению, бедности и нищеты много и вокруг нас в повседневной жизни, и, пройдя воспитание Достоевским, мы сможем лучше понять, сколько мук душевных, а не только физических – холода, голода – испытывает бедный человек, как страдает его гордость, когда он вынужден просить, как мучительно для него неравенство (особенно если это ребенок) с такими же вроде бы детьми, как он, но только имеющими богатых родителей, и как невыносима для бедных родителей невозможность накормить, одеть, вылечить любимого сына или дочь.

Достоевский вовсе не сентиментальный автор: он не призывает нас жалеть любого бедного только потому, что он бедный. Писатель понимает: порой бывает так, что в бедности своей и своего семейства повинен сам человек. Но чужая вина не освобождает нас ни от чего: наша вина, если мы не помогли страдающему ближнему, все равно будет нашей виной. Если мы увидим висящего на краю пропасти человека, мы протянем ему руку и поможем выбраться и только потом спросим, как он туда попал (а если не поможем, совесть будет мучить нас всю жизнь). Но очень часто человек оказывается беден вовсе не потому, что он глуп, любит выпить или ленив; бывает, что, раз потерпев в жизни неудачу, он уже не может поправить свои дела. Нередко причиной бедности бывает болезнь – своя или близких, – предательство друзей и еще очень многое.

Но помимо равнодушия или, того хуже, презрения к бедным есть и другая опасность, другая крайность, и о ней тоже предупреждает Достоевский. Когда мы читаем о таких страданиях или тем более видим их в жизни, в нас вместе с сочувствием и состраданием нередко рождается и протест: далее такое положение терпеть невозможно, надо сейчас же все исправить. И обязательно надо помочь, но только очень осторожно и бережно. Бедные люди, показывает нам Достоевский, очень ранимы, их может страшно обидеть любое обращение «свысока», позиция «благодетеля», который «снисходит» до них. Всегда можно помочь заботой, сочувствием, просто добрым словом. Но вот чего не следует делать – так это решать, что этим конкретным людям помогать нет смысла, следует лишь переделать весь мир по справедливости: отнять лишнее у богатых, отдать бедным, чтобы у всех было поровну. Люди все разные, и что такое «по справедливости», никто точно не знает. Очень часто такое желание – «переделать мир» – есть проявление скрытого желания самому выделиться, стать лидером, героем.

По-настоящему добрый и совестливый человек никогда не позволит себе пользоваться богатством, не делаясь с бедными, не помогая им. Но насильно сделать других добрыми нельзя, можно только поступать по добру и совести самому. И, быть может, ваш пример научит еще кого-то. Любой иной путь только увеличит зло в мире.

Все это – и не только, конечно, это – помогает нам узнать и понять книги Достоевского.

Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября (11 ноября по новому стилю) 1821 года в Москве, в семье небогатого врача Мариинской больницы на Божedomке (ныне улица Достоевского. Больница и сейчас находится там, а в одном из ее флигелей – музей-квартира Достоевского). Федор был вторым по старшинству, а всего в семье было восемь детей. Жили очень скромно, но тем не менее родители старались дать детям достойное образование, сами занимались с ними, по вечерам устраивались домашние чтения: родители и старшие дети читали по очереди вслух, а младшие слушали. Читали Державина, Жуковского, Карамзина, исторические романы – «Ледяной дом» Лажечникова, «Юрий Милославский» Загоскина. Много читали и сами дети. К семнадцати годам Достоевский уже прочел Пушкина

(которого «почти всего знал наизусть»), Державина, Лермонтова, Бальзака, Шиллера, Гюго, Гофмана, Шекспира, Гёте, Купера, Паскаля, В. Скотта.

Нельзя сказать, что жизнь будущий писатель узнавал только по книгам. Они со старшим братом Михаилом учились в частной школе. У Достоевских было маленькое имение Даровое в Тульской губернии, летом семья уезжала туда, мальчики иногда помогали работавшим крестьянам. Но то, что великий и таинственный мир подлинной литературы очень повлиял на его становление в детстве и юности, – бесспорно. «Без святого и драгоценного, без зачатков положительного и прекрасного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек, – писал он впоследствии. – Самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства».

В мае 1837 года отец везет Федора и Михаила в Санкт-Петербург для поступления в Главное инженерное военное училище. Федор выдерживает приемные экзамены и поступает, а брата Михаила не допускают к экзаменам по состоянию здоровья. Отец и брат вскоре уезжают, и Достоевский остается в столице один. Друзей среди соучеников по училищу у него почти не было, и большую часть свободного времени он проводил в чтении, тогда же начал писать сам. И хотя после окончания училища в 1843 году он был зачислен в Главное инженерное управление и можно было дальше продвигаться по службе, а после смерти отца (1839) средств к существованию не оставалось почти никаких, Достоевский подает в 1844 году в отставку и отныне навсегда посвящает себя писательскому труду. Почти два года он работает над своим первым романом «Бедные люди», который сразу приносит ему громкий успех: и литературные критики, и читатели сходятся во мнении, что в России появился новый замечательный писатель.

Роман «Бедные люди» довольно необычен по форме. Это несколько десятков писем, которые пишут друг другу бедный чиновник Макар Девушкин и его дальняя родственница Варенька Доброселова, оставшаяся сиротой после смерти родителей и кое-как зарабатывающая на жизнь шитьем. Они живут почти рядом, в одном из мрачных районов Петербурга, но видятся по разным причинам мало и редко, общаются в основном с помощью писем. Вы прочтете отрывок из этого романа – воспоминания Вареньки о своем счастливом детстве в деревне, о приезде с родителями в столицу и пережитых ими там испытаниях, о дружбе со студентом Покровским и его несчастным отцом, о смерти Покровского. Но это все, как принято говорить, предыстория. Действие же повести начинается с того, что Варенька, лишившись отца, а через некоторое время и матери и уйдя от расчетливой «благодетельницы» Анны Федоровны, поселяется вместе с преданной ей служанкой Федорой в маленькой комнате, в доме, расположенном напротив того, где снимает угол на кухне Макар Девушкин.

Скромный и робкий Макар всем сердцем любит Вареньку, но не решается не то что ей – даже себе в этом признаться. Он очень хочет помочь Вареньке, но его скудных средств хватает только на то, чтобы иногда послать ей кулечек конфет или букетик фиалок. Варенька ценит его любовь и заботу, но настоящей опорой в жизни он ей быть не может, ибо живет больше в мечтах, чем в реальности. Когда вновь появляется богатый помещик Быков, «заметивший» Вареньку еще в пору их с матерью жизни у Анны Федоровны, и сватается к ней, Варенька с отчаянием (она не любит Быкова, он намного старше ее) спрашивает у Макара в очередном письме: что делать? Но тот даже не слышит ее: он вроде бы нашел хорошую работу, которая когда-нибудь сумеет обеспечить их с Варенькой будущность. Варенька уезжает с Быковым, а мир Макара рушится...

Уже в этом, самом первом своем произведении Достоевский показывает, что, конечно, бедность очень тяжела для людей, но самая главная их беда в том, что они часто не могут услышать друг друга, по-настоящему понять чужую боль и печаль, нередко создавая в своем воображении вместо реального человека его вымышленный образ. Но большинство читателей того времени увидели в романе лишь очень талантливое изображение жизни бедняков и протест против разделения общества на богатых и бедных.



В своем втором произведении – повести «Двойник» – Достоевский пошел еще дальше по пути постижения «тайны человека» (именно так он определил основную свою задачу еще в ранней молодости). Герой этой повести – тоже чиновник, Голядкин. Он немного побогаче Девушкина, а главное – мечты у него совсем другие: удачно продвигаться по службе и жениться на дочери начальника. Но вот беда: Голядкин столь же робок, как и Девушкин, а вдобавок еще и эгоист, поэтому, если Макар ради счастья Вареньки готов на смелые для своего положения (пусть и безрезультатные) поступки, то Голядкин только мечтает о жизненных успехах и злится на окружающих.

И вот ему – в бреду или наяву, это так до конца и останется неясным – является двойник, такой же, как он сам, чиновник Голядкин («первый» Голядкин называет его «младшим»).

Голядкин-младший успешно, с нахальством и напором, осуществляет все то, о чем мечтал «старший», – и именно теми методами, на которые тот не решался, но одновременно вытесняет из жизни и самого Голядкина-старшего. Все кончается безумием «старшего», и мы так и не узнаем: то ли Голядкин давно уже сошел с ума и все это ему примерещилось, то ли... Но ведь дело не в этом. Главное, о чем хотел сказать здесь Достоевский, – не надо думать, что наши мысли и желания, казалось бы тайные и никому не известные, безвредны и безопасны. Пожелав, даже только в своем сознании, чего-то злого и нехорошего, мы уже впускаем это в жизнь, и дальше оно начинает действовать самостоятельно, выйдя из-под нашего контроля.

Повесть «Двойник», однако, была не понята современниками. А когда Достоевский вслед за тем написал еще более таинственную, мрачную и до сих пор еще до конца не разгаданную повесть «Хозяйка», многие вообще заговорили о том, что талант его был мнимым и большого писателя из него не получится. Достоевский очень переживал все это, но писательский труд не оставлял. В 1848 году он пишет повесть «Неточка Незванова» – рассказ о судьбе музыканта Ефимова, наделенного великим талантом, но обратившего этот талант не на благо, а во зло людям, и его падчерице Неточке, чей дар любви словно обжигает всех вокруг (рассказ о ее болезненно-напряженных отношениях с подругой Катей вы прочтете в этой книге).

Но Достоевский никогда не замыкался только на писательстве – он переживал в своем сердце и в сознании все то, что переживала Россия его времени. Вернее, само писательство было для него невысказано без этого. А в те годы, сороковые годы XIX века, в России, да и во всей Европе очень популярны были научные теории переустройства общества. Многим казалось, что люди страдают, мучаются и совершают зло, потому что общество устроено несправедливо, неправильно. Стоит лишь найти правильную «формулу» такого устройства – чтобы все жили вместе, у всех было общее имущество, все поровну работали и по справедливости делили заработанное, – и наступит рай на земле, зло исчезнет, и все станут добрыми и хорошими.

На вопрос: как добиться этого? – отвечали по-разному. Некоторые предполагали, что методом наглядного примера, – и устраивали общие поселения, где пытались организовать жизнь именно таким образом. Другие считали, что этот путь слишком долгий, и выбирали покороче – революцию. Революции происходили во Франции и в других странах, в те годы был написан «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Мыслящие люди в России, особенно молодежь, сходились в различные кружки, объединения и тайные общества для обсуждения новых революционных теорий и планов преобразования России (в России еще существовало крепостное право).

Одним из таких обществ было общество, собиравшееся под руководством М. В. Буташевича-Петрашевского, юриста и общественного деятеля. Входил в него и Достоевский. Общество просуществовало недолго. По доносу засланного в их ряды агента в ночь на 23 апреля 1848 года почти все петрашевцы были арестованы на своих квартирах и заключены в Петропавловскую крепость. Потом последовали следствие и суд, который приговорил их всех к смертной казни. Но высший военный суд, а затем и император Николай I смягчили приговор и

назначили каждому из осужденных различные сроки каторжных работ (Достоевскому – четыре года). Однако, чтобы дать петрашевцам почувствовать всю тяжесть свершенного, решено было провести подготовку к расстрелу, а затем уже объявить об его отмене. Так и было сделано. Осужденных вывели на площадь, провели все необходимые приготовления, распределили по тройкам (в таком порядке их должны были расстреливать). Первую тройку подвели и привязали к столбам, солдаты подняли ружья... Достоевский оказался во второй тройке, и жить ему, следовательно, оставалось не более двух-трех минут. Он успел передумать многое, вспомнил брата Михаила, родных... Тут загремели барабаны, и подъехавший офицер объявил об отмене казни и зачитал настоящие приговоры.

В тот же день вечером Достоевский пишет из тюрьмы письмо брату. Он понимает, что прежняя жизнь закончилась, наступает какая-то новая. Несмотря на предстоящие испытания, он не падает духом: «Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не пасть – вот в чем жизнь, в чем задача ее».

На каторгу петрашевцев везли через всю Россию, везли долго, на саних, запряженных лошадьми (поезда между Москвой и Петербургом еще только-только начинали ходить). В сибирских городах тогда жили семьи декабристов – участников восстания 1825 года, после подавления восстания сосланных в Сибирь на длительные сроки. Жены и невесты некоторых из них поехали добровольно вслед за своими любимыми. Эти замечательные женщины, поселившись в тех же местах, где отбывали срок их мужа, не только помогали им, чем могли, но также заботились о других ссыльных и заключенных. В городе Тобольске они встретили и следовавших в Омский каторжный острог Достоевского с друзьями, снабдили их теплой одеждой, необходимыми вещами и подарили каждому Евангелие.

В начале 1850 года Достоевского привезли в Омск, и начались его долгие каторжные четыре года. В «Записках из Мертвого дома» (Мертвым домом называли каторгу) Достоевский от лица вымышленного повествователя Горянчикова описал свою жизнь на каторге. Каторга тех времен, конечно, была несравнима с ужасными лагерями и тюрьмами XX века, но все-таки существование там было очень тяжелым, особенно для недавнего столичного жителя. Жизнь в бараках по сорок – пятьдесят человек, среди воров, бандитов и убийц.

Дворян, осужденных за политические преступления, так называемых политических, было очень мало, да и в основном это были поляки, воевавшие против России за свою независимость (Польша тогда входила в состав Российской империи). Отношения у них с Достоевским были враждебные. Среди каторжников встречались, конечно, и добрые, хорошие люди (их Достоевский замечательно описал в «Записках...»), но в основном это были люди мрачные и жестокие, со злобой и недоверием относившиеся к «господам», таким, как Достоевский. Грязь, вонь, теснота в темных и холодных бараках, изнурительные работы, невозможность хоть какое-то время в течение дня побыть одному, издевательства надзирателей и начальников, порой превосходивших по жестокости каторжан, – в пору было ожесточиться и возненавидеть весь мир.

Но с Достоевским на каторге произошло совсем другое. Он понял, во-первых, что почти в каждом из окружавших его людей, если не смотреть на них со злобой и страхом, можно разглядеть образ Божий – то доброе, светлое начало, которое заложено в каждом человеке, но затемняется и заслоняется потом грехами, совершаемыми человеком в течение жизни, но совершаемыми добровольно. Если человек не безумен, он всегда может выбрать: украсть или не украсть, пьянствовать или не пьянствовать, убить или не убить. Притом, что с детства было известно: красть и убивать – страшный грех и лучше даже умереть самому, нежели совершить такой грех. А если считать, что человеком всецело управляют окружающие обстоятельства (теории о решающем влиянии среды были очень популярны), то он перестает быть человеком, становится чем-то вроде деревянной куклы в кукольном театре.

Достоевский все больше укрепляется в мысли, что «зло таится в человеке гораздо глубже, чем предполагают лекаря-социалисты» – то есть те, кто хочет «вылечить» людей от зла одними лишь изменениями общественных условий. Ведь в одних и тех же обстоятельствах один крадет и убивает, а другой нет, а иной раз человек убивает ближнего своего не из-за голода или бедности, или из зависти и жадности, или в ответ на угрозу или оскорбление, а просто так... И еще долго при любом общественном устройстве будет так, потому что человек изменяется очень медленно, и причины его поступков, основы человеческого сознания и душевной жизни невероятно сложны и непредсказуемы.

Однажды в далеком детстве маленького Федю Достоевского, игравшего летом в деревенской роще и до смерти напуганного почудившимся ему криком: «Волк бежит!», успокоил и приласкал работавший неподалеку крепостной мужик Марей. Достоевский на всю жизнь запомнил трогательное участие и заботливость простого мужика. И на каторге, глядя на жестокие и огрубевшие лица каторжников, он понял, что почти каждый из них мог в той, докаторжной, жизни оказаться таким же Мареем, потому что очень по-разному складывается порой у людей жизнь. Но помнить о добром начале, заложенном в каждом человеке, надо всегда, и тогда спасешь и себя от злобы и ненависти и, может быть, сможешь вернуться к добру своему ближнему.

На каторге Достоевский подолгу читал Евангелие – то самое, подаренное ему женами декабристов (впоследствии он не расставался с этим Евангелием всю жизнь). Здесь, на каторге, содержание и смысл этой книги открывались по-новому. Достоевский понял, что основа веры, основа отношений человека с Богом и людей между собой – любовь, милосердие и сострадание. Человека нельзя заставить быть добрым – только своей свободной волей отказавшись от зла, полюбив ближнего, можно изменить в лучшую сторону соотношение добра и зла в мире.

Отбыв все четыре года на каторге и выйдя на свободу, Достоевский еще не имел права вернуться ни в Санкт-Петербург, ни в Москву, ни вообще в европейскую часть России. Он был лишен всех званий, а потому надо было начинать службу простым солдатом, потом – унтер-офицером. Только спустя еще четыре года, после многократных обращений на имя верховных властей, хлопот друзей Достоевского в столице, он получает разрешение переехать сначала в Тверь, а потом и в Санкт-Петербург. За время службы в Сибири Достоевский женился на вдове местного чиновника Марии Дмитриевне Исаевой и теперь возвращался с женой и ее сыном от первого брака Пашей.

За время пребывания Достоевского в Сибири в жизни страны произошли важные перемены. Россия проиграла Крымскую войну. Стало ясно, что многое в экономике и общественном устройстве надо менять, новый император – Александр II – решил отменить крепостное право и провести ряд других важных реформ. Но решительно настроенная часть общества, возглавляемая Н. Г. Чернышевским, Н. А. Добролюбовым и другими революционными демократами, считала, что этого недостаточно – в России нужна революция. Конечно, будут жертвы, прольется кровь, но зато потом, по их мнению, наступит счастливая жизнь. В то же время усиливалась вера в достижения науки, которая действительно тогда очень быстро развивалась. У многих возникала иллюзия, что наука уже знает о человеке все, что поведение людей можно рассчитать «по табличке». А значит, можно построить и «правильное» общество, где человек будет счастлив. Все это не могло не волновать Достоевского, который за долгие годы испытаний и раздумий в Сибири познал совсем другую истину о человеке и понял, чем может закончиться претворение в жизнь «передовых» революционных теорий.

Вслед за «Записками из Мертвого дома», романом «Униженные и оскорбленные» он создает одно из самых сложных и трагических своих произведений – повесть «Записки из подполья». На примере ее героя он показывает, что человек никогда не станет жить «по табличке», какие бы блага такая жизнь ни обещала. Он совершит любой безумный и даже вредный для себя поступок, лишь бы заявить свою волю, ибо самое большое благо для человека – посту-

пать по собственной свободной воле. Даже из «хрустального дворца» человек тут же убежит в «курытник», если ему скажут: «Ты *должен* жить во дворце». Но человек, живущий лишь для удовлетворения собственных желаний, тоже не будет счастлив, ибо разрушает мир вокруг себя. Только вера и любовь к людям наполняют жизнь подлинным смыслом и радостью.

В эти годы в личной жизни Достоевского произошли большие перемены. В 1864 году от тяжелой болезни скончалась его жена М. Д. Исаева, а вскоре умер и его брат Михаил, наиболее близкий ему человек. Сам Достоевский тоже был очень болен, ему приходилось с большим трудом рассчитываться с долгами. Издаваемый им вместе с братом журнал оказался убыточным, и после смерти Михаила ему пришлось заботиться и о семье брата. Работал он много и тяжело, вновь и вновь влезая в долги, очень мучился от одиночества. Но в конце 1866 года он знакомится с молодой стенографисткой Анной Григорьевной Сниткиной, а спустя полгода женится на ней. Жизнь его несколько налаживается. От этого брака у Достоевского было четверо детей: Соня и Алеша умерли в раннем детстве, а Федор и Люба прожили до двадцатых годов XX века. Правнук и правнучка Достоевского и их дети сейчас живут в Санкт-Петербурге. Достоевский очень любил детей, и не только своих. Он относился к ним всегда с нежностью, но в то же время серьезно и с уважением. И всегда помнил слова Христа: если не станете как дети (то есть не станете так же чисты и ясны душой и умом), не войдете в Царствие Небесное.

В 1865–1866 годах Достоевский пишет первый из пяти своих великих романов, принесших ему мировую славу, – «Преступление и наказание». Герой его – студент Родион Раскольников, страдающий от собственной бедности, от невозможности помочь своим близким, матери и сестре, от нищенской жизни окружающих его людей, в частности, семьи пьяницы чиновника Мармеладова. А неподалеку от Раскольникова живет старуха-процентщица, дающая в долг деньги под залог ценных вещей. Она очень богата, но из дому почти не выходит, семьи у нее нет, единственную свою сестру, робкую и смирную Лизавету, заставляет работать на соседней.

Раскольникову это кажется ужасно несправедливым. Он решает убить «бесполезную и вредную» старуху, завладеть ее богатством и совершить на эти деньги много добрых дел: помочь родным и другим бедным людям, самому закончить курс в университете. Всеми этими добрыми и полезными делами, по его мнению, «загладится» преступление. Он совершает задуманное, чудом остается незамеченным, но выясняется, что в его расчетах была огромная *ошибка*. Во-первых, случилось так, что вслед за старухой-процентщицей он убивает неожиданно вернувшуюся в квартиру Лизавету. А придя в себя после убийства (несколько дней он был в горячечном бреде), понимает, что пролитая кровь навсегда отгородила его от обычных людей. Еще никто не догадывается, что он убийца, но он сам уже не может жить прежней жизнью, не может даже общаться с матерью и сестрой. Ту небольшую часть драгоценностей старухи, которую ему удалось захватить, убегая, он зарывает под камнем в одном из дворов и больше не вспоминает о них. Он пытается помочь семье раздавленного лошадью на улице Мармеладова из последних оставшихся у него денег, когда-то присланных матерью.

Но старшая дочь Мармеладова, Соня, к которой Раскольников приходит в надежде найти понимание и сочувствие, когда он признается ей в убийстве, ужасается при мысли о том, что деньги, данные Раскольниковым, могли быть из *тех* денег. Соня убеждает Раскольникова, что единственное спасение для него – признаться в убийстве, покаяться прилюдно перед всеми за свой грех и принять заслуженное наказание. Но Раскольников, хотя и понимает, что потерпел крах, думает еще, что его теория была верна, только он сам оказался слаб и не выдержал. А вот если бы он был по-настоящему великой личностью – каким был, по его мнению, Наполеон, – то не остановился бы ни перед какими жертвами на пути к цели. Здесь он прав, ведь если рассуждать так, как он, то есть что можно убить одного человека ради счастья нескольких, можно убить десять – ради счастья сотни, тысячу – ради миллиона, миллион – ради всего народа и человечества.

Все революционеры рассуждали именно так, но никто из них – так же, как и Наполеон, – никогда не приносил счастья людям, и не только, естественно, жертвам, но и тем, ради кого все вроде бы делалось. Во-первых, потому, что, однажды разрешив насилие, его уже невозможно остановить, и в результате к власти приходят не честные и благородные люди, а те, кто лучше умеет убивать. Во-вторых, потому, что не может быть настоящего и прочного счастья, построенного на крови и мучениях предыдущих поколений. Да и сами люди, если только они продолжают оставаться людьми, откажутся от такого «счастья». А те, кто выжил и не отказался, уже потеряли право называться людьми.

Людям не поможешь *по-настоящему*, отняв у одних и отдав другим, потому что эти другие, не изменившись внутренне, вскоре вернутся в прежнее положение.

Предположим, дал бы Раскольников семье Мармеладовых «старухины» деньги – Мармеладов тут же украл бы и пропил их, как он это уже делал не раз (вот почему, несмотря на всю боль и горе, жена Мармеладова, указывая на умирающего мужа, обрекшего их в результате своей беспутной жизни на нищету и болезни, кричит священнику: «А это не грех?»).

В конце концов Раскольников хотя и не раскаивается еще *по-настоящему*, но, не видя другого выхода и не желая совершить еще более страшный грех – покончить с собой, приходит в полицию и признается в убийстве. Его судят и ссылают на каторгу. Соня отправляется вслед за ним. На каторге Раскольников тяжело заболевает, и в болезни ему снится сон: в людей на всей Земле вселяются некие бактерии, «трихины», и *каждый* начинает считать себя знающим, как надо устроить жизнь, каждый убежден в своей правоте. Начинается кошмар: люди убивают друг друга в попытках доказать свою правоту, ибо она ведь у каждого своя, главное, считают возможным делать это – они же правы... В ужасе Раскольников просыпается и понимает, это может произойти в реальности, если восторжествует его теория. Это понимание и родившаяся любовь к Соне позволяют ему наконец *по-настоящему* раскаяться и открывают возможность иной, новой жизни.

Второй роман Достоевского – «Идиот» – посвящен той же важной, главной для Достоевского проблеме: как человек может помочь другим людям, какими способами можно победить зло и в себе, и в мире. Герой этого романа, князь Мышкин, в черновиках назван Достоевским «князь Христос». Писатель хотел изобразить человека, максимально приближенного к идеалу, «положительно прекрасного», – человека, живущего и действующего в обычной жизни, среди обычных людей, у которых есть свои хорошие черты и есть плохие.

Князь Мышкин с детства страдал тяжелой болезнью мозга, лечился в Швейцарии и, вылечившись, в возрасте двадцати шести лет возвратился в Россию, в Петербург. В Швейцарии он жил очень уединенно и сумел сохранить чистоту души, доброту, бескорыстие, любовь и сострадание к людям. В России он сразу погружается в водоворот людских страстей и интересов и принимает это, искренне желая помочь людям, дать каждому то, в чем тот нуждается. И люди тянутся к нему, понимая, что Мышкин не похож на других. Даже те, кого он раздражает своей чистотой и наивностью и кто в лицо или за глаза называет его «идиотом», понимают, что князя действительно «Бог послал».

Но каждый считает, что Мышкина Бог послал именно к нему, хочет, чтобы князь помогал и заботился именно о нем, забыв о других. А князь не может забыть о ком-то, не может пройти мимо чужого страдания. Но, во-первых, *всем* помочь может только Бог. И Достоевский показывает, что такое стремление Мышкина, как и всякое превышение человеком своих сил и возможностей, тоже по-своему опасно и разрушительно и для него, и для окружающих. Однако и Мышкин, может, сумел бы сделать больше, если б окружающие его люди старались бескорыстно помочь и ему, и друг другу.

Легче всего Мышкину с детьми: они лишены гордыни и постоянной заботы об отстаивании своих интересов. И дети – а также те из взрослых, кто сохранил в себе много детского, – тоже бескорыстно и сильнее всех привязаны к Мышкину. Но многие из окружающих

его, напротив, упрекают князя в том, что он «как ребенок», что в нем «гордости нет». Они, наоборот, ставят в вину князю то, что тот помогает другим, мучают его своей ревностью. Это по-своему понятно. Ведь такому человеку доверяешь самое сокровенное, всего себя – и так хочется, чтобы он принадлежал только тебе. Поступить иначе, пренебречь своими интересами и нуждами ради другого – значит, в чем-то уподобиться ему, князю Мышкину, а на это способен далеко не каждый. Поэтому и сгущается вокруг князя Мышкина мрак мучений, ревности и страданий, гибнет красавица Настасья Филипповна, которую князь хотел спасти, навек покидает Мышкина и затем как-то нелепо устраивает свою судьбу полюбившая его Аглая. Рассудок князя не выдерживает, и он вновь погружается в безумие. «Идиот», пожалуй, самый таинственный и самый сложный роман Достоевского.

Интересно, что в черновиках к роману «Идиот» герой, который впоследствии превращается в князя Мышкина, был поначалу совсем другим: жестоким эгоистом, буйным и неистовым в своих прихотях и в то же время холодным циником. Такой характер Достоевский создал в романе «Бесы», написанном сразу вслед за «Идиотом». Это сын богатых помещиков, умница и красавец Николай Ставрогин (что парадоксально, корень этой фамилии «ставрос» в переводе с греческого означает «крест»). В романе изображены возникавшие тогда в России революционные террористические организации, показана расправа членов одной такой организации, «пятерки», над своим бывшим товарищем, решившим выйти из ее рядов.

В «Бесах» предсказано многое из того, что произошло в нашей стране в XX веке, – революционный террор и незаконные расправы, гибель множества невинных людей, отмена свободы слова и даже мысли, диктатура и неограниченная власть убийц и преступников над рядовыми участниками революционной борьбы. Предсказано так точно и так грозно, что многие современники Достоевского не поверили этому, считая писателя сумасшедшим. А в XX веке, когда все сбылось, роман «Бесы» был, понятно, самым ненавистным произведением для советской власти, и даже упоминать о нем долгое время было нельзя (как, впрочем, и сам Достоевский очень долго считался самым «враждебным» из русских классиков: в школах его не проходили, произведений не издавали). Но основной смысл романа «Бесы» все-таки не в обличении революционеров. Яркая и неординарная личность – Николай Ставрогин, который становится лидером везде, где бы он ни появлялся, ведь влияние его на людей безгранично, страдает безверием. Долгие годы своевольного удовлетворения своих желаний и эгоизма опустошили его душу, сделали рабом зла. И через него зло проникает в окружающий мир, в других людей, как бы увеличивая те грехи, что уже есть в каждом, – жадность и агрессивность у одних, отчаяние у других, безудержную тягу к власти у третьих. Ставрогин ответствен за них, ибо кому многое дано, с того многое и спросится. В конце концов и сам Ставрогин не выдерживает отчаяния и безверия и кончает жизнь самоубийством, тем самым как бы окончательно предав себя самого и тех, кто верил ему.

Но в те годы – 70 – 80-е годы XIX века, – когда в России начинал развиваться капитализм, очень опасными для душевного состояния народа были не только «бесы» – соблазны революционного насилия, но и «бесы» денежного обогащения, безграничной власти денег. Идеи обогащения тоже приобрели некий сказочный оттенок. Казалось, деньги, большие деньги, способны дать власть над всем миром, судьбы быстро разбогатевших западных банкиров – вроде Ротшильда во Франции, – пробившихся из бедняков в богачей мирового уровня, ослепили воображение даже благородных людей.

Именно судьба такого человека, юноши, даже еще подростка, Аркадия Долгорукова, лежит в основе романа Достоевского «Подросток», написанного после «Идиота» и «Бесов». Аркадий, незаконный сын богатого помещика Версилова и крестьянки Софьи, с детства был определен отцом для жизни и обучения в специальное закрытое учебное заведение для богатых детей, где постоянно испытывал чувство унижения от того, что он не такой, как все. И вот в его уме рождается идея: собрать упорным трудом накопительства большое состояние, полу-

чить тем самым безграничную власть над людьми, удовлетворить свое настрадавшееся за годы детства честолюбие, а потом раздать все людям и гордо удалиться «в пустыню». Достоевский, как и в романе «Преступление и наказание», показывает, что желание облагодетельствовать людей и стремление возвыситься, утвердить свою власть над ними очень часто соседствуют в одном сознании и второе нередко, к сожалению, оказывается главным.

В конце концов Подросток убеждается: можно либо жить по-человечески, любить людей и заботиться о них, либо копить и зарабатывать свой капитал, губя собственную душу. Аркадий не может себя заставить не сострадать ближним, не переживать происходящее вокруг, и потому, к счастью, никакого накопителя из него не выходит. Он находит своего отца, Версилова, человека «ставрогинского» типа, мучающегося борьбой веры и безверия. Сначала он подпадает под его влияние, но потом обретает свой голос и собственную позицию в спорах с ним, помогает воссоединению своей семьи – отца, матери и сестры Лизы.

Очень важное значение имела для Подростка встреча со старцем (так называли людей, странствующих по стране, живущих подаянием и часто передававших собранные деньги какому-либо монастырю или храму) Макаром Долгоруким. Макар, искренно и *радостно* верующий человек, преобразует представления Подростка о жизни, показывает ему возможности совсем по-другому помогать людям. С Подростком происходит еще много приключений, и в итоге перед ним открывается путь, совсем не похожий на «ротшильдовский»...

Последним, итоговым произведением Достоевского стал роман «Братья Карамазовы».

Но сначала надо сказать о таком удивительном создании Достоевского, как «Дневник писателя». Достоевскому всегда было очень важно разговаривать со своими читателями напрямую, делиться с ними мыслями по поводу происходящего в России и в мире, получать от них письма, узнавать, как живут и о чем думают люди. Он понимал, что Россия в то время – как и сейчас – переживала очень важный момент в своей истории, и от того, каким будет душевное состояние людей, зависит очень многое. И вот начиная с 1873 года он в газете «Гражданин», где тогда работал, заводит новый постоянный раздел – «Дневник писателя», где публикует свои выступления по самым важным политическим, общественным и культурным событиям, происходившим в то время в стране и в мире, – своеобразный «открытый дневник».

Затем Достоевский начинает выпускать «Дневник писателя» отдельными выпусками в виде небольшого журнала, выходившего примерно раз в месяц. Сюда входили не только статьи и очерки, но и небольшие художественные произведения – маленькие рассказы и повести. Такой рассказ – «Мальчик у Христа на елке» – вы прочтаете в этой книге (в «Дневнике писателя» было напечатано и воспоминание о мужике Марее).

В основе рассказа «Мальчик у Христа на елке» лежит стихотворение немецкого поэта Фридриха Рюккерта «Елка сироты», где говорится о том, как в вечер накануне Рождества мальчик-сирота бежит в отчаянии по улицам: везде елки, тепло, радость, а его нигде не принимают. Он обращается к Христу, и Христос спускается к нему со словами: «Я никогда не забуду о тебе, даже если все остальные забыли». Ангелы забирают мальчика на Небо, к сияющей елке, к Христу. Но у Достоевского так точно описаны страдания именно петербургского нищего ребенка, что даже мы сейчас, через сто с лишним лет, будто видим его и мучаемся вместе с ним. Да, таких несчастных детей Бог никогда не забывает и дарует им счастье на Небе, но здесь, на земле, их муки – на совести *каждого* из нас, каждого, кто прошел мимо, кто не принял такого мальчика в свой дом, не отогрел его. Сам мальчик даже перед смертью думает о других – о своей матери, о таких же, как он, страдающих мальчиках и девочках.

Рассказ «Мальчик у Христа на елке», вместе с «Мужиком Мареем», сам Достоевский ценил больше всех остальных художественных произведений, напечатанных в «Дневнике писателя». «Мальчика...» он часто читал на литературных вечерах для детей или на благотворительных чтениях, где собирались деньги для помощи бедным детям.

Романы Достоевского и «Дневник писателя» принесли ему большую известность и любовь читателей во всей России. Он получал сотни писем из больших и маленьких городов, отвечал на них, с ним делились своими мыслями и пожилые, и очень молодые люди, у него спрашивали совета. Были случаи, когда к нему заходили с улицы незнакомые люди, чтобы узнать мнение писателя по тому или иному вопросу. Это, как он сам говорил, братское общение со всей Россией очень помогло ему при создании «Братьев Карамазовых»: в содержании этого романа сосредоточены все важнейшие проблемы российской жизни того времени.

Главный герой романа – Алеша Карамазов, с ранних лет искренне поверивший в Бога и ушедший в монастырь, с намерением остаться там навсегда и стать монахом. Но его духовный учитель, старец Зосима, видя, что у Алеши по-настоящему чистое сердце, светлая душа и крепкая воля, что он умеет общаться с самыми разными людьми, считает: он гораздо нужнее будет за пределами монастыря, он сможет помочь и своим близким, и окружающим людям, живя, как говорится, «в миру» (то есть не монашеской уединенной, а обычной жизнью). Старец отправляет его «в мир».

Достоевский планировал написать две части романа, но успел закончить только первую, в которой отражена лишь молодость Алеши. Главная его деятельность должна была развернуться во второй части. Но и написанная первая часть – это огромный и сложный мир, содержащий множество глубоких идей и «вечных вопросов». Их называют «вечными», потому что они волновали и мучили людей и сто, и тысячу, и две тысячи лет назад и будут мучить еще долго. Есть ли Бог, и если есть, как Он допускает, чтобы на земле творилось так много зла; свободен ли человек в своих поступках, и если да, то хорошо ли это, – или только немногим избранным полагалось бы даровать свободу, а для остальных лучше было бы полное подчинение; в чем счастье – в хлебе, то есть в материальном достатке, или в духовном совершенстве, и что для человека главнее; как победить зло на земле и в себе самом; виноват ли человек, не сделавший ничего дурного, а только пожелавший это; почему страдают невинные дети?

Попробуем кратко пересказать содержание романа, чтобы был понятен тот довольно большой отрывок из него, которым завершается эта книга. Алеша – младший сын злого и эгоистичного помещика Федора Павловича Карамазова. У Алеши два старших брата. Дмитрий – офицер в отставке, шумный, буйный, любящий выпить и погулять, но чистый душой и искренний человек. Иван – мыслитель и философ, преуспевающий столичный литератор. По ряду обстоятельств они собираются вместе в доме отца, в маленьком провинциальном городе Скотопригоньевске. Сыновья не любят отца, всю жизнь обижавшего и обделявшего их. Любви нет даже у Алеши, хотя он, в отличие от братьев, относится к отцу с состраданием и сочувствием.

Дмитрий приехал с тем, чтобы получить от отца положенные ему по наследству деньги, – деньги эти очень нужны ему, чтобы заплатить мучающий его долг, три тысячи. У Федора Павловича служит лакеем Павел Смердяков – по слухам, четвертый, незаконный его сын. Со Смердяковым любит беседовать Иван, просвещая его с высоты своей образованности и растолковывая ему свои передовые теории. Теории же эти сводятся вот к чему. Если Бог, добрый и милосердный, действительно существует, то как Он допускает страдания невинных детей (Иван специально собирает факты действительно ужасных страданий и мучений детей из газет и рассказов очевидцев)? Взрослые, по его мнению, уже совершили в своей жизни разные греховные поступки, и можно считать, что их страдания – наказание за зло. Но дети-то страдают за что? И если Церковь обещает нам «в конце веков» рай, мировую гармонию, то как можно принять такую гармонию, на пути к которой были страдания детей, да пусть хоть одна слезинка одного ребенка? И Иван гордо заявляет: я возвращаю Богу мой «билет» в рай. А для человека, выбравшего такой путь или решившего, что Бога вовсе нет, – «все позволено». Ибо если мир стоит не на любви и доброте, а жизнь человека заканчивается с его земной смертью, то зачем следовать каким-то принципам и идеалам?



Но сильный ум Ивана – впрочем, не только его, но и многих мыслителей прошлого – не может понять простую вроде бы вещь. В Библии – книге, в начале которой рассказывается о том, как Бог сотворил мир и человека, – сказано, что человек был создан по образу и подобию Божию. Это менее всего означает, что между человеком и Богом есть внешнее сходство. Главное: человек наделен, как и Бог, свободой. И все, что каждый из нас делает, – работа, помощь другим людям, добрые дела, вообще отношения с окружающим миром, – имеет смысл и ценность, только если совершается по нашей свободной воле. Если человек делает что-то из-под палки, по принуждению, то, во-первых, он тут же перестанет это делать, как только принуждение прекратится. Во-вторых, делать он это будет плохо, ибо без любви и без души, со злостью и раздражением. В-третьих, пользы и смысла от этого не будет, потому что ближние лучше обойдутся без помощи, смешанной со злостью. Конечно, живя среди людей, мы порой обязаны делать что-то не по своей воле – например, рано вставать и идти в школу или на работу, выполнять разные бытовые дела, – но в итоге все равно ведь мы делаем это ради любви к кому-то или чему-то, то есть опять-таки по нашей свободной воле. Так же обстоит дело и с верой. Только такая вера ценна, которая основана на свободной воле человека. Если бы Бог явился всем людям зримо и очевидно, во всем своем могуществе и великолепии, людям бы оставалось только упасть на колени перед Ним и рабски поклоняться Ему.

Если бы Бог постоянно вмешивался в жизнь людей – и за добрые дела тут же награждал, а за дурные – наказывал, мир был бы похож на клетку с дрессированными животными. Людям дана свобода выбрать добро или зло. Те, кто выбрал зло, мучают себя и окружающих (в том числе и беззащитных детей), а результаты и последствия этого почему-то называют Божиим наказанием, то есть попросту люди перекладывают собственную вину на Бога (а некоторые – на силы зла, на черта и тому подобное; это делает и Иван). И если тебя действительно мучит существующее на земле зло, начни борьбу с ним в самом себе – по цепочке (ведь все на земле неразрывно связано) начнет меняться и остальной мир. Гораздо легче объявить, что в окружающем мире правит зло, и снять с себя ответственность за него; «количество» зла от этого только увеличится. Так и происходит в судьбе Ивана.

Неожиданно ночью находят тело убитого Федора Павловича, из его комнаты похищены деньги. Подозрение сразу падает на Дмитрия, который незадолго перед тем грозился убить отца и добыть нужные ему деньги. Все улики против него, ему предстоит суд. Но перед самым судом Иван узнает, что убил и ограбил отца лакей Смердяков, наслушавшись его, Ивана, рассуждений о том, что «если Бога нет, то все позволено». Мало того, задумав убийство, Смердяков дал понять Ивану, что, если он уедет, отца убьют. Тот, втайне желая, чтобы убийство совершилось и виноват оказался Дмитрий, уезжает. Смердяков воспринимает отъезд как одобрение своих замыслов. Осознав все это, Иван приходит в ужас и решает на следующий день явиться в суд и признаться. Но напряжение происшедшего оказывается слишком велико, и он сходит с ума. А Смердяков, лишившись поддержки Ивана (в которой был уверен), кончает жизнь самоубийством. В результате Дмитрий, в невиновности которого убежден только Алеша, осужден и приговорен к каторге.

Все главные проблемы романа по-своему отражаются и в мире «мальчиков». Здесь есть как бы маленькая копия Ивана – Коля Красоткин, тоже претендующий на то, чтобы быть «сильной личностью». В духе «прогрессивных» идей того времени Коля тоже рассуждает свысока о том, что «я, знаете, никогда не отвергаю народа... я всегда готов признать ум в народе... с народом надо умеючи говорить... я верю в народ и всегда рад отдать ему справедливость, но отнюдь не балую его...»; «Я социалист... я неисправимый социалист... Я воображаю иногда... что надо мной все смеются, весь мир, и я тогда, я просто готов уничтожить весь поря- док вещей». Тут это еще смешно, но сколько бед совсем скоро принесут России такие Коли Красоткины, когда немного подрастут, но не наберутся ума! Да и сегодня разве нет таких Красоткиных?

А между тем претендующий на роль «учителя народа» Коля обнаруживает свое полное непонимание жизни даже в отношениях с маленьким Илюшей. Сначала он берется «опекать» его, затем, когда Илюша полностью доверяется ему, он бросает его – в «воспитательных целях». Когда Илюша, соблазненный Смердяковым (как сам Смердяков – Иваном), совершает зло по отношению к бездомной собаке – подбрасывает ей бритву в хлебе и испытывает страшные муки совести после этого, Коля, найдя собаку, не спешит обрадовать Илюшу, хотя известно, что собака жива, могло бы спасти больного мальчика. Он много дней дрессирует собаку, чтобы «произвести эффект» у постели больного Илюши. Но болезнь уже зашла далеко: маленький Илюша умирает.

В связи с этой историей «мальчиков» хотелось бы сказать и о другом. В каждом детском коллективе есть кто-то один или несколько человек, кого преследуют насмешками (а то и похуже), отторгают, обижают, не принимают к «своим». Это обычно делается для того, чтобы «своим» утвердиться в сознании собственной значительности и ценности. Если вы из тех, кто преследует, прочитав «Мальчиков», задумайтесь: может, тот, с кем вы так поступаете, такой же Илюшечка.

И Илюша, и его отец – бедный, униженный, но оттого еще более обидчиво-гордый капитан Снегирев, и Коля Красоткин, и остальные мальчики – все поначалу встречают Алешу враждебно, настороженно, агрессивно. Илюша даже бросает в него камнями и прокусывает палец. Алеша мог бы ответить такой же агрессией: ударить, оскорбить, обидеть, тем более что он-то ни перед кем из этих людей не виноват. Но Алеша во всех случаях отвечает смирением и любовью, и люди преображаются, злоба и ожесточение, как корка, спадают с их сердец, и вскоре они уже становятся преданными друзьями и даже учениками Алешы.

Здесь – две важнейшие в романе (и в жизни нашей) истины. Как учил Алешу старец Зосима, «когда сталкиваешься с грехом людским и спрашиваешь себя: взять ли силой или смиренной любовью? – всегда решай: возьму смиренной любовью. Решись – так раз навсегда и весь мир покорить можешь». Хотя может показаться, что это глупо и просто невозможно, особенно в нынешнее время, поверьте: эта истина оказывается истиной всегда. (Конечно, так следует поступать лишь тогда, когда не надо защищать себя, а тем более другого от действительно сильного, нападающего зла – тут, Достоевский всегда подчеркивал, надо противопоставить злу силу и обезвредить его.) И второе. Нет человека, который мог бы сказать: я не виноват в зле, творящемся в мире. Задумайтесь и увидите, сколько плохого можно было бы избежать, поступи мы сами когда-то по-другому. Важно осознать это как можно раньше – как мальчики из «Братьев Карамазовых». Жизнь – не только счастье, но и труднейшее испытание с самых ранних лет.

В начале 1880 года в Москве состоялись торжества, посвященные открытию памятника А. С. Пушкину на Страстной (ныне Пушкинской) площади. На этих торжествах, вместе со многими писателями и общественными деятелями, выступал и Достоевский. Он произнес вдохновенную речь о своем любимом поэте. Она до сих пор остается, может быть, самым лучшим и мудрым из всего, что написано и сказано о Пушкине. Восторг слушавших был так велик, что люди падали в обморок, мирились друг с другом те, кто враждовал много лет...

Правда, уже на следующий день в обществе развернулись жаркие споры по поводу этой речи. Споры, продолжающиеся и до сих пор...

Речь о Пушкине, возражения спорившим с ней и другие материалы составили последний выпуск «Дневника писателя» – январский за 1881 год. В конце января у Достоевского обострилась болезнь легких, которой он давно страдал. 28 января (по старому стилю) ему стало совсем плохо. Он попросил жену открыть Евангелие (то самое, что привез с каторги) и прочесть первые открывшиеся строки. Это были строки Евангелия от Матфея, где повествуется о том, как Иоанн Креститель, к которому приходит креститься Христос, не решается крестить Его. «Иоанн же удерживал Его и говорил: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли прихо-

дишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Не удерживай; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“». «Ты слышишь, – сказал жене Достоевский, – „не удерживай“ – значит, я умру». Через несколько часов его не стало.

Здесь удалось показать, может быть, лишь одну сотую сложнейшего и интереснейшего мира Достоевского. Вот уже много десятков лет миллионы людей во всем мире изучают его произведения, спорят о них, учатся у него пониманию глубины, сложности и радости жизни. Сегодня в этот мир вступаете и вы. Читайте его, размышляйте, соглашайтесь или спорьте с ним. Не будьте только равнодушны к жизни и к ее «вечным вопросам», и тогда можно будет сказать, что вы идете путем Достоевского. Счастья вам!

*Карен Степанян*

## Записки Вареньки Доброселовой



*(из романа «Бедные люди»).*

© Рис. Д. Штеренберга, 1971

## I

Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка. Детство мое было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управителем огромного имения князя П-го, в Т-й губернии. Мы жили в одной из деревень князя, и жили тихо, неслышно, счастливо... Я была такая резвая маленькая: только и делаю, бывало, что бегаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне никто и не заботился. Батюшка беспрерывно был занят делами, матушка занималась хозяйством; меня ничему не учили, а я тому рада была. Бывало, с самого раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам – и нужды нет, что солнце печет, что забежишь сама не знаешь куда от селенья, исцарапаешься об кусты, разорвешь свое платье, – дома после бранят, а мне и ничего.

И мне кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между тем я еще дитею принуждена была оставить родные места. Мне было еще только двенадцать лет, когда мы в Петербург переехали. Ах, как я грустно помню наши печальные сборы! Как я плакала, когда прощалась со всем, что так было мило мне. Я помню, что я бросилась на шею батюшке и со слезами умоляла остаться хоть немножко в деревне. Батюшка закричал на меня, матушка плакала; говорила, что надобно, что дела этого требовали. Старый князь П-й умер. Наследники отказали батюшке от должности. У батюшки были кой-какие деньги в оборотах<sup>1</sup> в руках частных лиц в Петербурге. Надеюсь поправить свои обстоятельства, он почел необходимым свое личное здесь присутствие. Все это я узнала после от матушки. Мы здесь поселились на Петербургской стороне<sup>2</sup> и прожили на одном месте до самой кончины батюшки.

Как тяжело мне привыкать к новой жизни! Мы въехали в Петербург осенью. Когда мы оставляли деревню, день был такой светлый, теплый, яркий; сельские работы кончались; на гумнах уже громоздились огромные скирды хлеба и толпились крикливые стаи птиц; все было так ясно и весело, а здесь, при въезде нашем в город, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых! Кое-как мы устроились. Помню, все так суетились у нас, все хлопотали, обзаводились новым хозяйством. Батюшки все не было дома, у матушки не было покойной минуты – меня позабыли совсем. Грустно мне было вставать поутру, после первой ночи на нашем новоселье. Окна наши выходили на какой-то желтый забор. На улице постоянно была грязь. Прохожие были редки, и все они так плотно кутались, всем так было холодно.

А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука. Родных и близких знакомых у нас почти не было... Ходили к нам довольно часто люди по делам. Обыкновенно спорили, шумели, кричали. После каждого посещения батюшка делался таким недовольным, сердитым: по целым часам ходит, бывало, из угла в угол, нахмурясь, и ни с кем слова не вымолвит. Матушка не смела тогда и заговорить с ним и молчала. Я садилась куда-нибудь в уголок за книжку – смирно, тихо; пошевелиться, бывало, не смею.

Три месяца спустя по приезде нашем в Петербург меня отдали в пансион<sup>3</sup>. Вот грустнотой было мне сначала в чужих людях! Все так сухо, неприветливо было, – гувернантки такие крикуньи, девицы такие насмешницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно. Часы на все положенные, общий стол, скучные учителя – все это меня сначала истерзало, измучило. Я там и спать не могла. Плачу, бывало, целую ночь, длинную, скучную, холодную ночь. Бывало, по

---

<sup>1</sup> *Деньги в оборотах* – деньги, которые отдаются в долг какому-либо банку или частному лицу и «работают» («оборачиваются»), принося своему владельцу доход в виде процентов с долга.

<sup>2</sup> Петербургская сторона – район в Санкт-Петербурге (ныне – Петроградская сторона), с которого начиналось строительство города, на Петровском острове, за Троицким мостом и Петропавловской крепостью.

<sup>3</sup> *Пансион* – частное учебное заведение, где дети жили и учились, приезжая домой лишь на субботу и воскресенье.

вечерам все повторяют или учат уроки; я сижу себе за разговорами<sup>4</sup> или вокабулами<sup>5</sup>, шевельнуться не смею, а сама все думаю про домашний наш угол, про батюшку, про матушку, про мою старушку няню, про нянины сказки... ах, как сгрустнется!

Об самой пустой вещице в доме, и о той с удовольствием вспоминаешь. Думаешь-думаешь: вот как бы хорошо теперь было дома! Сидела бы я в маленькой комнатке нашей, у самовара, вместе с нашими; было бы так тепло, хорошо, знакомо. Как бы, думаешь, обняла теперь матушку, крепко-крепко, горячо-горячо! Думаешь-думаешь, да и заплачешь тихонько с тоски, дав в груди слезы, и нейдут на ум вокабулы. Как к завтра урока не выучишь; всю ночь снятся учитель, мадам, девицы; всю ночь во сне уроки твердишь, а на другой день ничего не знаешь. Поставят на колени, дадут одно кушанье. Я была такая невеселая, скучная. Сначала все девицы надо мной смеялись, дразнили меня, сбивали, когда я говорила уроки, щипали, когда мы в рядах шли к обеду или к чаю, жаловались на меня ни за что ни про что гувернантке. Зато какой рай, когда няня придет, бывало, за мной в субботу вечером. Так и обниму, бывало, мою старушку в иступлении радости. Она меня оденет, укутает, дорогою не поспекает за мной, а я все болтаю, болтаю, рассказываю. Домой приду веселая, радостная, крепко обниму наших, как будто после десятилетней разлуки. Начнутся толки, разговоры, рассказы; со всеми здороваешься, смеешься, хохочешь, бегаешь, прыгаешь. С батюшкой начнутся разговоры серьезные, о науках, о наших учителях, о французском языке, о грамматике Ломонда – и все мы так веселы, так довольны. Мне и теперь весело вспоминать об этих минутах. Я всеми силами старалась учиться и угождать батюшке. Я видела, что он последнее на меня отдавал, а сам бился бог знает как. С каждым днем он становился все мрачнее, недовольнее, сердитее; характер его совсем испортился: дела не удавались, долгов было пропасть. Матушка, бывало, и плакать боялась, слова сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку; сделалась больная такая; все худела, худела и стала дурно кашлять. Я, бывало, приду из пансиона – всё такие грустные лица; матушка потихоньку плачет, батюшка сердится. Начнутся упреки, укоры. Батюшка начнет говорить, что я ему не доставляю никаких радостей, никаких утешений; что они из-за меня последнего лишаются, а я до сих пор не говорю по-французски; одним словом, все неудачи, все несчастья, всё, всё вымещалось на мне и на матушке. А как можно было мучить бедную матушку? Глядя на нее, сердце разрывалось, бывало: щеки ее ввалились, глаза впали, в лице был такой чахоточный цвет. Мне доставалось больше всех. Начиналось всегда из пустяков, а потом уж бог знает до чего доходило; часто я даже не понимала, о чем идет дело. Чего не причиталось!.. И французский язык, и что я большая дура, и что содержательница нашего пансиона нерадивая, глупая женщина; что она об нашей нравственности не заботится; что батюшка службы себе до сих пор не может найти и что грамматика Ломонда скверная грамматика, а Запольского гораздо лучше; что на меня денег много бросили по-пустому; что я, видно, бесчувственная, каменная, – одним словом, я, бедная, из всех сил билась, твердя разговоры и вокабулы, а во всем была виновата, за все отвечала! И это совсем не оттого, чтобы батюшка не любил меня: во мне и матушке он души не слышал. Но уж это так, характер был такой.

Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до крайности: он стал недоверчив, желчен; часто был близок к отчаянию, начал пренебрегать своим здоровьем, простудился и вдруг заболел, страдал недолго и скончался так внезапно, так скоростижно, что мы все несколько дней были вне себя от удара. Матушка была в каком-то оцепенении; я даже боялась за ее рассудок. Только что скончался батюшка, кредиторы явились к нам как из земли, нахлынули гурьбою. Все, что у нас ни было, мы отдали. Наш домик на Петербургской стороне, который батюшка купил полгода спустя после переселения нашего в Петербург, был также продан. Не знаю, как уладили остальное, но сами мы остались без крова, без пристанища, без пропи-

<sup>4</sup> *Разговоры*, или «диалоги», – пособия для обучения иностранному языку.

<sup>5</sup> *Вокабулы* – иностранные слова с переводом на родной язык для заучивания наизусть.

тания. Матушка страдала изнурительною болезнью, прокормить мы себя не могли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Федоровна. Она все говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то роднею. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие; соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват: что он не по силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнаружила желание сойтись с нами короче, предложила забыть обоюдные неприятности; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду по голубчике (так она выразилась о батюшке). После этого она торжественно помирилась с матушкой.

После долгих вступлений и предувещаний Анна Федоровна, изобразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась; но так как делать было нечего и иначе распорядиться никак нельзя, то и объявила наконец Анне Федоровне, что ее предложение мы принимаем с благодарностию. Как теперь помню утро, в которое мы перебирались с Петербургской стороны на Васильевский остров. Утро было осеннее, ясное, сухое, морозное. Матушка плакала, мне было ужасно грустно: грудь у меня разрывалась, душу томило от какой-то неизъяснимой, страшной тоски... Тяжкое было время...

## II

Сначала, покамест еще мы, то есть я и матушка, не обжились на нашем новоселье, нам обеим было как-то жутко, дико у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила в собственном доме, в Шестой линии. В доме всего было пять чистых комнат. В трех из них жила Анна Федоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась, – ребенок, сиротка, без отца и матери. Потом в одной комнате жили мы, и, наконец, в последней комнате, рядом с нами, помещался один бедный студент Покровский, жилец у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила очень хорошо...

Сначала она была с нами довольно ласкова, – а потом уж и выказала свой настоящий характер вполне, как увидела, что мы совершенно беспомощны и что нам идти некуда. Впоследствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова, до лести, но сначала и я терпела заодно с матушкой. Поминутно попрекала она нас; только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас как своих бедных родственниц, вдовицу и сироту беспомощных, которых она из милости, ради любви христианской, у себя приютила. За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами, а если мы не ели, так опять начиналась история: дескать, мы гнушаемся; не взыщите, чем богата, тем и рада; было ли бы еще у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила: говорила, что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, христианской души, сострадательной, так еще бог знает пришлось бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить. Чего-чего она не говорила! Не так горько, как отвратительно было ее слушать. Матушка поминутно плакала; здоровье ее становилось день от дня хуже, она видимо чахла, а между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне Федоровне: она поминутно говорила, что у нее не модный магазин в доме. Но нужно было одеваться, нужно было на непредвиденные расходы откладывать, нужно было непременно свои деньги иметь. Мы на всякий случай копили, надеялись, что можно будет со временем переехать куда-нибудь. Но матушка последнее здоровье свое потеряла на работе: она слабела с каждым днем. Болезнь, как червь, видимо подтачивала жизнь ее и близила к гробу. Я все видела, все чувствовала, все выстрадала; все это было на глазах моих!

Дни проходили за днями, и каждый день был похож на предыдущий. Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Федоровна мало-помалу утихала, по мере того как сама стала вполне сознавать свое владычество. Ей, впрочем, никогда и никто не думал прекословить. В нашей комнате мы были отделены от ее половины коридором, а рядом с нами, как я уже упоминала, жил Покровский. Он учил Сашу французскому и немецкому языкам, истории, географии – всем наукам, как говорила Анна Федоровна, и за то получал от нее квартиру и стол; Саша была препонятливая девочка, хотя резвая и шалунья; ей было тогда лет тринадцать. Анна Федоровна заметила матушке, что недурно бы было, если бы и я стала учиться, затем, что в пансионе меня недоучили. Матушка с радостью согласилась, и я целый год училась у Покровского вместе с Сашей.

Покровский был бедный, очень бедный молодой человек; здоровье его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его так, по привычке только, звали у нас студентом. Жил он скромно, смиренно, тихо, так что и не слышно бывало его из нашей комнаты. С виду он был такой странный; так неловко ходил, так неловко раскланивался, так чудно говорил, что я сначала на него без смеху и смотреть не могла. Саша непрерывно над ним проказничала, особенно когда он нам уроки давал. А он вдобавок был раздражительного характера, беспрестанно сердился, за каждую малость из себя выходил, кричал на нас, жаловался на нас и часто, не докончив урока, рассерженный уходил в свою комнату. У себя же он по целым дням сидел за книгами. У него



было много книг, и все такие дорогие, редкие книги. Он кое-где еще учил, получал кое-какую плату, так что чуть, бывало, у него заведутся деньги, так он тотчас идет себе книг покупать.

Со временем я узнала его лучше, короче. Он был добрейший, достойнейший человек, наилучший из всех, которых мне встречать удавалось. Матушка его весьма уважала. Потом он и для меня был лучшим из друзей, – разумеется, после матушки.

Сначала я, такая большая девушка, шалила заодно с Сашей, и мы, бывало, по целым часам ломаем головы, как бы раздражить и вывести его из терпения. Он ужасно смешно сердился, а нам это было чрезвычайно забавно. (Мне даже и вспоминать это стыдно.) Раз мы раздражили его чем-то чуть не до слез, и я слышала ясно, как он прошептал: «Злые дети». Я вдруг смутилась; мне стало и стыдно, и горько, и жалко его. Я помню, что я покраснела до ушей и чуть не со слезами на глазах стала просить его успокоиться и не обижаться нашими глупыми шалостями, но он закрыл книгу, не dokonчил нам урока и ушел в свою комнату. Я целый день надрывалась от раскаяния. Мысль о том, что мы, дети, своими жестокостями довели его до слез, была для меня нестерпима. Мы, стало быть, ждали его слез. Нам, стало быть, их хотелось; стало быть, мы успели его из последнего терпения вывести; стало быть, мы насильно заставили его, несчастного, бедного, о своем лютом жребии вспомнить! Я всю ночь не спала от досады, от грусти, от раскаянья. Говорят, что раскаянье облегчает душу – напротив. Не знаю, как приключилось к моему горю и самолюбию. Мне не хотелось, чтобы он считал меня за ребенка. Мне тогда было уже пятнадцать лет.

С этого дня я начала мучить воображение мое, создавая тысячи планов, каким бы образом вдруг заставить Покровского изменить свое мнение обо мне. Но я была подчас робка и застенчива; в настоящем положении моем я ни на что не могла решиться и ограничивалась одними мечтаниями (и бог знает какими мечтаниями!). Я перестала только проказничать вместе с Сашей: он перестал на нас сердиться; но для самолюбия моего этого было мало.

Теперь скажу несколько слов об одном самом странном, самом любопытном и самом жалком человеке из всех, которых когда-либо мне случалось встречать. Потому говорю о нем теперь, именно на этом месте моих записок, что до самой этой эпохи я почти не обращала на него никакого внимания, – так все, касавшееся Покровского, стало для меня вдруг занимательно!

У нас в доме являлся иногда старичок, запачканный, дурно одетый, маленький, седенький, мешковатый, неловкий, одним словом, странный донельзя. С первого взгляда на него можно было подумать, что он как будто чего-то стыдится, как будто ему себя самого совестно. Оттого он все как-то ежился, как-то кривлялся; такие ухватки, ужимки были у него, что можно было, почти не ошибаясь, заключить, что он не в своем уме. Придет, бывало, к нам, да стоит в сенях у стеклянных дверей и в дом войти не смеет. Кто из нас мимо пройдет – я или Саша, или из слуг, кого он знал подбрее к нему, – то он сейчас машет, манит к себе, делает разные знаки, и разве только когда кивнешь ему головою и позовешь его – условный знак, что в доме нет никого постороннего и что ему можно войти, когда ему угодно, – только тогда старик тихонько отворял дверь, радостно улыбался, потирал руки от удовольствия и на цыпочках прямо отправлялся в комнату Покровского. Это был его отец. Потом я узнала подробно всю историю этого бедного старика. Он когда-то где-то служил, был без малейших способностей и занимал самое последнее, самое незначительное место на службе. Когда умерла первая его жена (мать студента Покровского), то он вздумал жениться во второй раз, и женился на мещанке. При новой жене в доме все пошло вверх дном; никому житья от нее не стало; она всех к рукам прибрала. Студент Покровский был тогда еще ребенком, лет десяти. Мачеха его возненавидела. Но маленькому Покровскому благоприятствовала судьба. Помещик Быков, знавший чиновника Покровского и бывший некогда его благодетелем, принял ребенка под свое покровительство и поместил его в какую-то школу.

Из школы молодой Покровский поступил в какую-то гимназию и потом в университет. Господин Быков, весьма часто приезжавший в Петербург, и тут не оставил его своим покровительством. За расстроенным здоровьем своим Покровский не мог продолжать занятий своих в университете. Господин Быков познакомил его с Анной Федоровной, сам рекомендовал его, и таким образом молодой Покровский был принят на хлеба с уговором учить Сашу всему, чему ни потребуется.

Старик же Покровский, с горя от жестокостей жены своей, предался самому дурному пороку и почти всегда бывал в нетрезвом виде. Он был еще не очень старый человек, но от дурных наклонностей почти из ума выжил. Единственным же признаком человеческих благородных чувств была в нем неограниченная любовь к сыну. Говорили, что молодой Покровский похож как две капли воды на покойную мать свою. Не воспоминания ли о прежней доброй жене породили в сердце погибшего старика такую беспредельную любовь к нему? Старик и говорить больше ни о чем не мог, как о сыне, и постоянно два раза в неделю навещал его. Во-первых, он был ужасно любопытен, во-вторых, разговорами и расспросами, самыми пустыми и бестолковыми, он поминутно мешал сыну заниматься и, наконец, являлся иногда в нетрезвом виде.

Бедный старик не мог надивиться и нарадоваться на своего Петеньку (так он называл сына). Когда он приходил к нему в гости, то почти всегда имел какой-то озабоченный, робкий вид, обыкновенно долго не решался войти, и если я тут случалась, так он меня минут двадцать, бывало, расспрашивал – что, каков Петенька? здоров ли он? в каком именно расположении духа, и не занимается ли чем-нибудь важным? Что он именно делает? Пишет ли или размышлениями какими занимается? Когда я его достаточно ободряла и успокоивала, то старик наконец решался войти и тихо-тихо, осторожно-осторожно отворял двери, проходил в комнату, снимал свою шинельку, шляпу, которая вечно у него была измятая, дырявая, с оторванными полями, – все вешал на крюк, все делал тихо, неслышно; потом садился где-нибудь осторожно на стул и с сына глаз не спускал. . . Если сын с ним заговаривал, то старик всегда отвечал тихо. Но дар слова ему не давался: всегда смешается и сробеет, так что не знает, куда руки девать, куда себя девать, и после еще долго про себя ответ шепчет, как бы желая поправиться. Иногда он заходил к нам. Приносил мне и Саше пряничных петушков, яблоков и все, бывало, толкует с нами о Петеньке. Просил нас учиться внимательно, слушаться, говорил, что Петенька добрый сын, примерный сын и вдобавок ученый сын. Тут он так, бывало, смешно нам подмигивал левым глазком, так забавно кривлялся, что мы не могли удержаться от смеха и хохотали над ним от души. Маменька его очень любила.

Скоро я перестала учиться у Покровского. Меня он по-прежнему считал ребенком, резвой девочкой, на одном ряду с Сашей. Мне было это очень больно, потому что я всеми силами старалась загладить мое прежнее поведение. Но меня не замечали. Это раздражало меня более и более. Я никогда почти не говорила с Покровским вне классов, да и не могла говорить. Я краснела, мешалась и потом где-нибудь в уголку плакала от досады.



Я не знаю, чем бы это все кончилось, если б сближению нашему не помогло одно странное обстоятельство. Однажды вечером, когда матушка сидела у Анны Федоровны, я тихонько вошла в комнату Покровского. Я знала, что его не было дома, и, право, не знаю, отчего мне вздумалось войти к нему. До сих пор я никогда и не заглядывала к нему, хотя мы прожили рядом уже с лишком год. Я осмотрелась у него кругом с каким-то особенным любопытством. Комната Покровского была весьма бедно убрана; порядка было мало. На стенах прибито было пять длинных полок с книгами. На столе и на стульях лежали бумаги. Книги да бумаги! Он был учен, а я была глупа и ничего не знала, ничего не читала, ни одной книги... Тут я завистливо поглядела на длинные полки, которые ломились под книгами. Мною овладела досада, тоска, какое-то бешенство. Мне захотелось, и я тут же решила прочесть его книги, все до одной, и как можно скорее. Не знаю, может быть, я думала, что, научившись всему, что он знал, буду достойнее его дружбы. Я бросилась к первой полке; не думая, не останавливаясь, схватила в руки первый попавшийся, запыленный старый том и, краснея, бледнея, дрожа от волнения и страха, утащила к себе краденую книгу, решившись прочесть ее ночью, у ночника, когда заснет матушка.

Но как же мне стало досадно, когда я, придя в нашу комнату, торопливо развернула книгу и увидела какое-то старое, полусгнившее, все изъеденное червями латинское сочинение. Я воротилась, не теряя времени. Только что я хотела поставить книгу на полку, послышался шум в коридоре и чьи-то близкие шаги. Я заспешила, заторопилась, но несносная книга была так плотно поставлена в ряд, что, когда я вынула одну, все остальные раздались сами собою и сплотнились так, что теперь для прежнего их товарища не оставалось более места. Втиснуть книгу у меня не доставало сил. Однако ж я толкнула книги как только могла сильнее. Ржавый гвоздь, на котором крепилась полка и который, кажется, нарочно ждал этой минуты, чтоб сломаться, – сломался. Полка полетела одним концом вниз. Книги с шумом посыпались на пол. Дверь отворилась, и Покровский вошел в комнату.

Нужно заметить, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь хозяйничал в его владениях. Беда тому, кто дотрогивался до книг его! Судите же о моем ужасе, когда книги, маленькие, большие, всевозможных форматов, всевозможной величины и толщины, ринулись с полки, полетели, запрыгали под столом, под стульями, по всей комнате. Я было хотела бежать, но было поздно. «Кончено, думаю, кончено! Я пропала, погибла! Я балую, резвлюсь, как десятилетний ребенок; я глупая девчонка! Я большая дура!!» Покровский рассердился ужасно. «Ну

вот, этого недоставало еще! – закричал он. – Ну, не стыдно ли вам так шалить!.. Уйметесь ли вы когда-нибудь?» И сам бросился подбирать книги. Я было нагнулась помочь ему. «Не нужно, не нужно, – закричал он. – Лучше бы вы сделали, если б не ходили туда, куда вас не просят». Но, впрочем, немного смягченный моим покорным движением, он продолжал уже тише, в недавнем наставническом тоне, пользуясь недавним правом учителя: «Ну, когда вы остепенитесь, когда вы одумаетесь? Ведь вы на себя посмотрите, ведь уж вы не ребенок, не маленькая девочка, ведь вам уже пятнадцать лет!»

Несколько дней спустя матушка вдруг сделалась опасно больна. Она уже два дня не вставала с постели и на третью ночь была в жару и в бреде. Я уже не спала одну ночь, ухаживая за матушкой, сидела у ее кровати, подносила ей питье и давала в определенные часы лекарства. На вторую ночь я измучилась совершенно. По временам меня клонил сон, в глазах зеленело, голова шла кругом, и я каждую минуту готова была упасть от утомления, но слабые стоны матери пробуждали меня, я вздрагивала, просыпалась на мгновение, а потом дремота опять одолевала меня. Я мучилась. Я не знаю – я не могу припомнить себе, – но какой-то страшный сон, какое-то ужасное видение посетило мою расстроенную голову в томительную минуту борьбы сна с бдением. Я проснулась в ужасе. В комнате было темно, ночник погасал, полосы света то вдруг обливали всю комнату, то чуть-чуть мелькали по стене, то исчезали совсем. Мне стало отчего-то страшно, какой-то ужас напал на меня: воображение мое взволновано было ужасным сном; тоска сдавила мое сердце... Я вскочила со стула и невольно вскрикнула от какого-то мучительного, страшно тягостного чувства. В это время отворилась дверь, и Покровский вошел к нам в комнату.

Он бережно посадил меня в кресла, подал мне стакан воды и засыпал вопросами. Не помню, что я ему отвечала. «Вы больны, вы сами очень больны, – сказал он, взяв меня за руку, – у вас жар, вы себя губите, вы своего здоровья не щадите; успокойтесь, лягте, засните. Я вас разбужу через два часа, успокойтесь немного... Ложитесь же, ложитесь!» – продолжал он, не давая мне выговорить ни одного слова в возражение. Усталость отняла у меня последние силы; глаза мои закрывались от слабости. Я прилегла в кресла, решившись заснуть только на полчаса, и проспала до утра. Покровский разбудил меня только тогда, когда пришло время давать матушке лекарство.

На другой день, когда я, отдохнув немного днем, приготовилась опять сидеть в креслах у постели матушки, твердо решившись в этот раз не засыпать, Покровский часов в одиннадцать постучался в нашу комнату. Я отворила. «Вам скучно сидеть одной, – сказал он мне, – вот вам книга: возьмите; все не так скучно будет». Я взяла; я не помню, какая это была книга: вряд ли я тогда в нее заглянула, хоть всю ночь не спала.

В следующий вечер, когда в доме уж все улеглись, Покровский отворил свою дверь и начал со мной разговаривать, стоя у порога своей комнаты. Я не помню теперь ни одного слова из того, что мы сказали тогда друг другу. Помню только, что я робела, мешалась, досадовала на себя и с нетерпением ожидала окончания разговора, хотя сама всеми силами желала его, целый день мечтала о нем и сочиняла мои вопросы и ответы... Я призналась ему, что мне хотелось учиться, что-нибудь знать, что мне досадно было, что меня считают девочкой, ребенком!..

Матушка выздоравливала, но я еще продолжала сидеть по ночам у ее постели. Часто Покровский давал мне книги; я читала, сначала чтоб не заснуть, потом внимательнее, потом с жадностью; передо мной внезапно открылось много нового, доселе неведомого, незнакомого мне. Новые мысли, новые впечатления разом, обильным потоком прихлынули к моему сердцу. Так прошло несколько недель...

Как-то раз зашел к нам старик Покровский. Он долго с нами болтал, был не по-обыкновенному весел, бодр, разговорчив; смеялся, острил по-своему и, наконец, разрешил загадку своего восторга и объявил нам, что ровно через неделю будет день рождения Петеньки и что по сему случаю он непременно придет к сыну; что он наденет новую жилетку и что жена обе-

щалась купить ему новые сапоги. Одним словом, старик был счастлив вполне и болтал обо всем, что ему на ум попадалось.

День его рождения! Этот день рождения не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Я непременно решила напомнить о своей дружбе Покровскому и что-нибудь подарить ему. Но что? Наконец я выдумала подарить ему книг. Я знала, что ему хотелось иметь полное собрание сочинений Пушкина, в последнем издании, и я решила купить Пушкина. У меня своих собственных денег было рублей тридцать, заработанных рукодельем. Эти деньги были отложены у меня на новое платье.

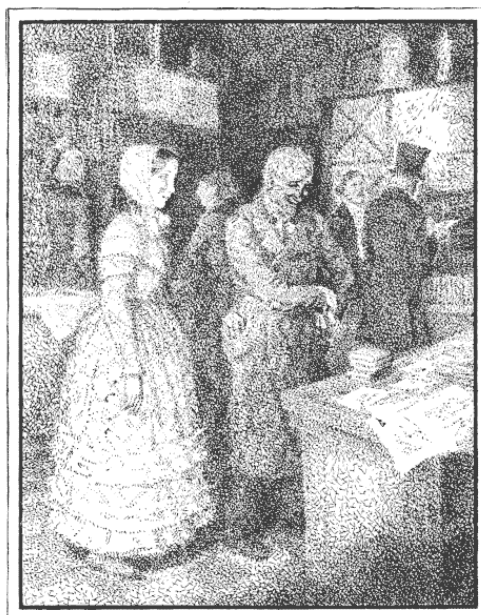
Тотчас я послала нашу кухарку, старуху Матрену, узнать, что стоит весь Пушкин. Беда! Цена всех одиннадцати книг, присовокупив сюда издержки на переплет, была по крайней мере рублей шестьдесят. Где взять денег? Я думала-думала и не знала, на что решиться. У матушки просить не хотелось. Конечно, матушка мне непременно бы помогла; но тогда все бы в доме узнали о нашем подарке; да к тому же этот подарок обратился бы в благодарность, в плату за целый год трудов Покровского. Мне хотелось подарить одной, тихонько от всех. А за труды его со мною я хотела быть ему навсегда одолженною без какой бы то ни было уплаты, кроме дружбы моей. Наконец я выдумала, как выйти из затруднения.

Я знала, что у букинистов в Гостином дворе можно купить книгу иногда в полцены дешевле, если только поторговаться, часто малоподержанную и почти совершенно новую. Я положила непременно отправиться в Гостиный двор. Так и случилось: на завтра же встретила какая-то надобность и у нас и у Анны Федоровны. Матушке понездоровилось, Анна Федоровна очень кстати поленилась, так что пришлось все поручения возложить на меня, и я отправилась вместе с Матреной.

К моему счастью, я нашла весьма скоро Пушкина, и в весьма красивом переплете. Я начала торговаться. Сначала запросили дороже, чем в лавках; но потом, впрочем не без труда, уходя несколько раз, я довела купца до того, что он сбавил цену и ограничил свои требования только десятью рублями серебром. Как мне весело было торговаться!.. Бедная Матрена не понимала, что со мной делается и зачем я вздумала покупать столько книг. Но ужас! Весь мой капитал был в тридцать рублей ассигнациями<sup>6</sup>, а купец никак не соглашался уступить дешевле. Наконец я начала упрашивать, просила-просила его, наконец упростила. Он уступил, но только два с полтиною, и побожился, что и эту уступку он только ради меня делает, что я такая барышня хорошая, а что для другого кого он ни за что бы не уступил. Двух с половиною рублей не доставало! Я готова была заплакать с досады. Но самое неожиданное обстоятельство помогло мне в моем горе.

---

<sup>6</sup> В то время один серебряный рубль соответствовал трем с половиною рублям ассигнациями (то есть бумажными деньгами).



Недалеко от меня, у другого стола с книгами, я увидела старика Покровского. Вокруг него столпились четверо или пятеро букинистов; они его сбили с последнего толку, затормошили совсем. Всякий из них предлагал ему свой товар, и чего-чего не предлагали они ему и чего-чего не хотел он купить! Бедный старик стоял посреди их, как будто забитый какой-нибудь, и не знал, за что взяться из того, что ему предлагали. Я подошла к нему и спросила – что он здесь делает? Старик мне очень обрадовался; он любил меня без памяти, может быть не менее Петеньки. «Да вот книжки покупаю, Варвара Алексеевна, – отвечал он мне, – Петеньке покупаю книжки. Вот его день рождения скоро будет, а он любит книжки, так вот я и покупаю их для него...» Старик и всегда смешно изъяснялся, а теперь вдобавок был в ужаснейшем замешательстве. К чему ни приценится, все рубль серебром, два рубля, три рубля серебром; уж он к большим книгам и не приценивался, а так только завистливо на них посматривал, перебирал пальцами листочки, вертел в руках и опять ставил на место. «Нет, нет, это дорого, – говорил он вполголоса, – а вот разве отсюда что-нибудь», – и тут он начинал перебирать тоненькие тетрадки, песенники, альманахи; это все было очень дешево. «Да зачем вы это все покупаете, – спросила я его, – это все ужасные пустяки». – «Ах, нет, – отвечал он, – нет, вы посмотрите только, какие здесь есть хорошие книжки; очень, очень хорошие есть книжки!» И последние слова он так жалобно протянул нараспев, что мне показалось, что он заплакать готов от досады, зачем книжки хорошие дороги, и что вот сейчас капнет слезинка с его бледных щек на красный нос. Я спросила, много ли у него денег? «Да вот, – тут, бедненький, вынул все свои деньги, завернутые в засаленную газетную бумажку, – вот полтинничек, двугривенничек, меди копеек двадцать». Я его тотчас потащила к моему букинисту. «Вот целых одиннадцать книг стоит всего-то тридцать два рубля с полтиною; у меня есть тридцать; приложите два с полтиною; и мы купим все эти книги и подарим вместе». Старик обезумел от радости, высыпал все свои деньги, и букинист навьючил на него всю нашу общую библиотеку. Мой старичок наложил книг во все карманы, набрал в обе руки, под мышки и унес все к себе, дав мне слово принести все книги на другой день тихонько ко мне.

На другой день старик пришел к сыну, с часочек посидел у него по обыкновению, потом зашел к нам и подсел ко мне с прекомическим таинственным видом. Сначала с улыбкой, потирая руки от гордого удовольствия владеть какой-нибудь тайной, он объявил мне, что книжки все пренезаметно перенесены к нам и стоят в уголку, в кухне, под покровительством Матрены. Потом разговор естественно перешел на ожидаемый праздник; потом старик распространился

о том, как мы будем дарить, и чем далее углублялся он в свой предмет, чем более о нем говорил, тем приметнее мне становилось, что у него есть что-то на душе, о чем он не может, не смеет, даже боится выразиться. Я все ждала и молчала. Тайная радость, тайное удовольствие, что я легко читала доселе в его странных ухватках, гримасничанье, подмигивание левым глазком, исчезли. Он делался поминутно все беспокойнее и тоскливее; наконец он не выдержал.

– Послушайте, – начал он робко, вполголоса, – послушайте, Варвара Алексеевна... знаете ли что, Варвара Алексеевна?.. – Старик был в ужасном замешательстве. – Видите: вы, как придет день его рождения, возьмите десять книжек и подарите их ему сами, то есть от себя, с своей стороны; я же возьму тогда одну одиннадцатую и уж тоже подарю от себя, то есть, собственно, с своей стороны. Так вот, видите ли – и у вас будет что-нибудь подарить и у меня будет что-нибудь подарить; у нас обоих будет что-нибудь подарить. – Тут старик смешался и замолчал. Я взглянула на него: он с робким ожиданием ожидал моего приговора. «Да зачем же вы хотите, чтоб мы не вместе дарили, Захар Петрович?» – «Да так, Варвара Алексеевна, уж это так... я ведь, оно того...» – одним словом, старик замешался, покраснел, завяз в своей фразе и не мог сдвинуться с места.

– Видите ли, – объяснился он наконец. – Я, Варвара Алексеевна, балуюсь подчас... то есть я хочу доложить вам, что я почти и все балуюсь и всегда балуюсь... придерживаюсь того, что нехорошо... то есть знаете, этак на дворе такие холода бывают, также иногда неприятности бывают разные, или там как-нибудь грустно делается, или что-нибудь из нехорошего случится, так я и не удержусь подчас, и забалуюсь, и выпью иногда лишнее. Петруше это очень неприятно. Он, вот видите ли, Варвара Алексеевна, сердится, бранит меня и мне морали разные читает. Так вот бы мне и хотелось теперь самому доказать ему подарком моим, что я исправляюсь и начинаю вести себя хорошо. Что вот я копил, чтобы книжку купить, долго копил, потому что у меня и денег-то почти никогда не бывает, разве, случится, Петруша кое-когда даст. Он это знает. Следовательно, вот он увидит употребление денег моих и узнает, что все это я для него одного делаю.

Мне стало ужасно жаль старика. Я думала недолго. Старик смотрел на меня с беспокойством. «Да слушайте, Захар Петрович, – сказала я, – вы подарите их ему все!» – «Как все? то есть книжки все?..» – «Ну да, книжки все». – «И от себя?» – «От себя». – «От одного себя? то есть от своего имени?» – «Ну да, от своего имени...» Я, кажется, очень ясно толковала, но старик очень долго не мог понять меня.

«Ну да, – говорил он, задумавшись, – да! это будет очень хорошо, это было бы весьма хорошо, только вы-то как же, Варвара Алексеевна?» – «Ну, да я ничего не подарю». – «Как! – закричал старик, почти испугавшись, – так вы ничего Петеньке не подарите, так вы ему ничего дарить не хотите?» Старик испугался; в эту минуту он, кажется, готов был отказаться от своего предложения затем, чтобы и я могла чем-нибудь подарить его сына. Добряк был этот старик! Я уверила его, что я бы рада была подарить что-нибудь, да только у него не хочу отнимать удовольствия. «Если сын ваш будет доволен, – прибавила я, – и вы будете рады, то и я буду рада, потому что втайне-то, в сердце-то моем, буду чувствовать, как будто и на самом деле я подарила». Этим старик совершенно успокоился. Он пробыл у нас еще два часа, но все это время на месте не мог усидеть, вставал, возился, шумел, шалил с Сашей, целовал меня украдкой, щипал меня за руку и делал тихонько гримасы Анне Федоровне. Анна Федоровна прогнала его наконец из дома. Одним словом, старик от восторга так расхотелся, как, может быть, никогда еще не бывало с ним.

В торжественный день он явился ровно в одиннадцать часов, прямо от обедни, во фраке, прилично заштопанном, и действительно в новом жилете и в новых сапогах. В обеих руках было у него по связке книг. Мы все сидели тогда в зале у Анны Федоровны и пили кофе (было воскресенье). Старик начал, кажется, с того, что Пушкин был весьма хороший стихотворец; потом, сбиваясь и мешаясь, перешел вдруг на то, что нужно вести себя хорошо и что если

человек не ведет себя хорошо, то значит, что он балуется; что дурные наклонности губят и уничтожают человека; исчислил даже несколько пагубных примеров невоздержания и заключил тем, что он с некоторого времени совершенно исправился и что теперь ведет себя примерно хорошо.

Я не могла удержаться от слез и смеха, слушая бедного старика; ведь умел же налгать, когда нужда пришла! Книги были перенесены в комнату Покровского и поставлены на полку. Покровский тотчас угадал истину. Старика пригласили обедать. Этот день мы все были так веселы. После обеда играли в фанты, в карты; Саша резвилась, я от нее не отставала.

А теперь все пойдут грустные, тяжелые воспоминания: начнется повесть о моих черных днях. Вот отчего, может быть, перо мое начинает двигаться медленнее и как будто отказывается писать далее. Вот отчего, может быть, я с таким увлечением и с такою любовью переходила в памяти моей малейшие подробности моего маленького житья-бытья в счастливые дни мои. Эти дни были так недолги; их сменило горе, черное горе, которое бог один знает когда кончится.

Несчастья мои начались болезнию и смертию Покровского.

Он заболел два месяца спустя после последних происшествий, мною здесь описанных. В эти два месяца он неутомимо хлопотал о способах жизни, ибо до сих пор он еще не имел определенного положения. Как и все чахоточные, он не расставался до последней минуты своей с надеждою жить очень долго. Ему выходило куда-то место в учителя; но к этому ремеслу он имел отвращение. Служить где-нибудь в казенном месте он не мог за нездоровьем. К тому же долго бы нужно было ждать первого оклада жалованья. Короче, Покровский видел везде только одни неудачи; характер его портился. Здоровье его расстраивалось; он этого не примечал. Подступила осень. Каждый день он выходил в своей легкой шинельке хлопотать по своим делам, просить и вымаливать себе где-нибудь места, – что его внутренне мучило; промачивал ноги, мок под дождем и, наконец, слег в постель, с которой не вставал уж более... Он умер в глубокую осень, в конце октября месяца.

Он редко был в памяти; часто был в бреду; говорил бог знает о чем, о своем месте, о своих книгах, обо мне, об отце...

В последнюю ночь он был как исступленный; он ужасно страдал, тосковал; стоны его терзали мою душу. Все в доме были в каком-то испуге. Анна Федоровна все молилась, чтобы Бог его прибрал поскорее. Призвали доктора. Доктор сказал, что больной умрет к утру непременно.

Старик Покровский целую ночь провел в коридоре, у самой двери в комнату сына; тут ему постлали какую-то рогожку. Он поминутно входил в комнату; на него страшно было смотреть. Он был так убит горем, что казался совершенно бесчувственным и бессмысленным. Голова его тряслась от страха. Он сам весь дрожал и все что-то шептал про себя, о чем-то рассуждал сам с собою. Мне казалось, что он с ума сойдет с горя.

Перед рассветом старик, усталый от душевной боли, заснул на своей рогожке как убитый. В восьмом часу сын стал умирать; я разбудила отца. Покровский был в полной памяти и простился со всеми нами. Чудно! Я не могла плакать; но душа моя разрывалась на части.

Но всего более истерзали и измучили меня его последние мгновения. Он чего-то все просил долго-долго коснеющим языком своим, а я ничего не могла разобрать из слов его. Сердце мое надрывалось от боли! Целый час он был беспокоен, об чем-то все тосковал, силился сделать какой-то знак охолоделыми руками своими и потом опять начинал просить жалобно, хриплым, глухим голосом; но слова его были одни бессвязные звуки, и я опять ничего понять не могла. Я подводила ему всех наших, давала ему пить; но он все грустно качал головою. Наконец я поняла, чего он хотел. Он просил поднять занавес у окна и открыть ставни. Ему, верно, хотелось взглянуть в последний раз на день, на свет Божий, на солнце. Я отдернула занавес; но начинающийся день был печальный и грустный, как угасающая бедная жизнь умирающего. Солнца не было. Облака застилали небо туманною пеленою; оно было такое дождливое, хму-



рое, грустное. Мелкий дождь дробил в стекла и омывал их струями холодной грязной воды; было тускло и темно. В комнату чуть-чуть проходили лучи бледного дня и едва оспаривали дрожащий свет лампадки, затепленной перед образом. Умирающий взглянул на меня грустно-грустно и покачал головою. Через минуту он умер.

Похороны распорядилась сама Анна Федоровна. Купили гроб простой-простой и наняли ломового извозчика. В обеспечение издержек, Анна Федоровна захватила все книги и все вещи покойного. Старик с ней спорил, шумел, отнял у ней книг сколько мог, набил ими все свои карманы, наложил их в шляпу, куда мог, носился с ними все три дни и даже не расстался с ними и тогда, когда нужно было идти в церковь. Все эти дни он был как беспамятный, как одурелый и с какою-то странною заботливостью все хлопотал около гроба: то оправлял венчик на покойнике, то зажигал и снимал свечи. Видно было, что мысли его ни на чем не могли остановиться порядком. Ни матушка, ни Анна Федоровна не были в церкви на отпевании. Матушка была больна, а Анна Федоровна совсем было уж собралась, да поссорилась со стариком Покровским и осталась. Была только одна я да старик. Во время службы на меня напал какой-то страх – словно предчувствие будущего. Я едва могла выстоять в церкви. Наконец гроб закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли. Я проводила его только до конца улицы. Извозчик поехал рысью. Старик бежал за ним и громко плакал; плач его дрожал и прерывался от бега. Бедный потерял свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его мокла от дождя; поднимался ветер; изморозь секла и колола лицо. Старик, кажется, не чувствовал непогоды и с плачем перебегал с одной стороны телеги на другую. Полы его ветхого сюртука развевались по ветру, как крылья. Из всех карманов торчали книги; в руках его была какая-то огромная книга, за которую он крепко держался. Прохожие снимали шапки и крестились. Иные останавливались и дивились на бедного старика. Книги поминутно падали у него из карманов в грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю; он поднимал и опять пускался вдогонку за гробом. На углу улицы увязалась с ним вместе провожать гроб какая-то нищая старуха. Телега повернула наконец за угол и скрылась от глаз моих. Я пошла домой. Я бросилась в страшной тоске на грудь матушки. Я сжимала ее крепко-крепко в руках своих, целовала ее и навзрыд плакала, боязливо прижимаясь к ней, как бы стараясь удержать в своих объятиях последнего друга моего и не отдавать его смерти... Но смерть уже стояла над бедной матушкой!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.